

СОДЕРЖАНИЕ

ВИДЕНИЕ.....	3
ПАДШИЕ	5
ВОЛЯ К СЧАСТЬЮ	41
СМЕРТЬ.....	61
РАЗОЧАРОВАНИЕ.....	68
ТОБИАС МИНДЕРНИКЕЛЬ	75
ОТМЩЕНИЕ	86
ПЛАТЯНОЙ ШКАФ.....	92
ДОРОГА НА КЛАДБИЩЕ.....	103
GLADIUS DEI	114
УДИВИТЕЛЬНЫЙ РЕБЕНОК.....	135
АЛЧУЩИЕ	146
У ПРОРОКА	155
СЧАСТЬЕ	166
ТЯЖЕЛЫЙ ЧАС	180
ФЬОРЕНЦА	190
АНЕКДОТ	312
КРУШЕНИЕ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ	318
КАК ПОДРАЛСЯ ЯППЕ С ДО ЭСКОБАРОМ	330
ПЕСНЬ О МЛАДЕНЦЕ	349
КРОВЬ ВЕЛЬСУНГОВ.....	391
ОБМЕНЕННЫЕ ГОЛОВЫ	426
ЗАКОН	534
ОБМАНУТАЯ.....	614

ВИДЕНИЕ

Прозаический набросок

Вот я автоматически скручиваю очередную сигарету, коричневая пыльца мельчайшими хлопьями плавно опадает на желтоватую промокательную бумагу из папки, и трудно поверить, что я еще не сплю. А когда теплый, влажный вечерний воздух, вплывая в открытое рядом окно, так престранно лепит облачка дыма и утягивает их из-под лампы с зеленым абажуром в тускло-черное пространство, мне ясно, что я уже вижу сон.

Тут, конечно, дело становится совсем скверно, ибо это соображение взнуздывает фантазию. Позади, исподтишка поддразнивая, поскрипывает спинка стула, и вдруг трепет будто торопливой волной пробегает по всем нервам. Какая досадная помеха в моем глубоко-мысленном изучении причудливых, блуждающих вокруг дымных писем, которые я почти уже решил скрепить связующей нитью.

Но теперь весь покой летит к черту. Бешеные движения во всех чувствах. Лихорадочные, нервные, безумные. Каждый звук верещит. И вместе со всем этим смутно поднимается забытое. Некогда запечатленное зрением, оно чудно возрождается, да еще в придачу с тогдашним ощущением.

С каким интересом я подмечаю, что взгляд мой, всматриваясь в это место в темноте, жадно расширяется! В то самое место, где все отчетливее просту-

пают светлая фигура. Как он ее впитывает... Вообще-то ему лишь мерещится, но все же какое блаженство! И он охватывает все больше. То есть больше забирает, больше набирает, больше пьянеет... все... больше.

Вот она и предстала, вполне четкая, точно как тогда, картина, произведение случая. Вынырнувшая из забытого, созданная заново, сформованная, писанная фантазией, сказочно талантливой художницей.

Не большая — маленькая. Да и вообще не целое, но все же завершенная, как тогда. И все-таки безбрежно расплывающаяся в темноте, в разные стороны. Вселенная. Мир. В ней мерцает свет и глубокое настроение. Но ни звука. Ничто не проникает в нее из смеющегося вокруг шума. То есть не сейчас вокруг, а тогда.

В самом низу ослепительно блестит дамаст; поперец зубчиками, кружочками, спиральками — вывязанные листья и цветы. Поверх прозрачно пластающаяся, а затем стройно взмывающая хрустальная чаша, наполовину заполненная чистым золотом. Перед ней в задумчивости протянутая рука. Пальцы легко обнимают подножие чаши. Один из них обхватило тускло-серебряное кольцо. На нем кровит рубин.

Уже там, где за нежным запястьем в крещендо форм намечается предплечье, облик расплывается в целом. Сладостная загадка. Задумчиво и неподвижно покоится девичья рука. Только в змеящейся над матовой белизной голубой вене пульсирует жизнь, медленно и гулко бьется страсть. И, чувствуя мой взгляд, она становится все стремительнее, стремительнее, все неистовее, неистовее, пока наконец не перетекает в трепетную мольбу: «Оставь...»

Но мой взгляд давит тяжело, с жестоким сладострастием, как и тогда. Давит на руку, в которой, содро-

гаясь, пульсирует борьба с любовью, победа любви... как и тогда... как и тогда...

Медленно со дна чаши отделяется и всплывает наверх жемчужина. Попав в свечение рубина, она вспыхивает кроваво-красным и резко гаснет на поверхности. И внезапно образ, словно ему помешали, начинает исчезать, как бы взгляд, прорисовывая слабые контуры, ни силился их подновить.

И вот все пропало, растаяв во тьме. Я делаю вдох, глубокий вдох, ибо понимаю, что забыл об этом. Как и тогда...

Медленно откидываюсь на спинку стула, и вздрагивает боль. Но теперь я так же твердо, как и тогда, знаю: ты всетаки меня любила... И именно поэтому я могу теперь плакать.

ПАДШИЕ

Мы опять собрались вчетвером.

На сей раз роль хозяина играл маленький Майзенберг. В его мастерской ужинать было прелестно.

Необычное помещение было оформлено весьма своеобразно — причудливые капризы художника. Этрусские и японские вазы, испанские веера и кинжалы, китайские ширмы и итальянские мандолины, африканские трубы-раковины и маленькие античные статуэтки, пестрые фарфоровые безделушки рококо и восковые мадонны, старые гравюры и работы кисти самого Майзенберга, — все в кричащих сочетаниях, словно показывая на себя пальцем, было расставлено и развешено по комнате на столах, этажерках, консолях и стенах, помимо того, подобно полу, покрытых толстыми восточными коврами и обтянутых поблекшими вышитыми шелковыми обоями.

Мы вчетвером, то бишь маленький юркий Майзенберг с каштановыми локонами, юный светловолосый идеалист и политэкономист Лаубе, который, где бы ни оказался, принимался читать мораль на тему огромной справедливости женской эмансипации, доктор медицины Зельтен и я — итак, мы вчетвером расселись на самых разнообразных предназначенных для сидения приспособлениях в центре мастерской вокруг тяжелого стола красного дерева и уже довольно продолжительное время предавались великолепному меню, составленному для нас гениальным хозяином. Пожалуй, еще более винам. Майзенберг в очередной раз раскошелился.

Доктор сидел на высоком церковном стуле старинной резьбы, над которым в своей резкой манере неустанно подсмеивался. Он считался в нашем кругу ироничным скептиком. Знание мира и презрение к нему в каждом пренебрежительном жесте. Он был самым старшим среди нас — уже около тридцати. Больше и «пожил».

— Скоморох! — говорил Майзенберг. — Но забавный.

Этот «скоморох» действительно немного проглядывал в докторе. Глаза его мерцали каким-то растушеванным блеском, а черные, коротко стриженные волосы на макушке уже слегка просвечивали. Лицо, оканчивающееся бородкой клинышком, нисходя от носа к уголкам рта, приобретало нечто язвительное, порой придававшее ему даже какую-то горькую энергию.

За рокфором мы опять вели «глубокомысленные разговоры». Это Зельтен называл их так с брезгливым высокомерием человека, который, как он говорил, давно усвоил единственную философию — безо

всяких сомнений и угрызений совести наслаждаться срежиссированной без должного внимания, соответственно, там, наверху, земной жизнью, чтобы потом, пожав плечами, спросить: «И это все?»

Но Лаубе, ловкими обходными маневрами оседлав своего конька, опять вышел из себя и, сидя на мягком стуле, отчаянно размахивал руками во все стороны.

— Вот именно! Вот именно! Позорное социальное положение особи женского пола, — (он никогда не говорил «женщина», всегда «особь женского пола», поскольку это звучало более естественнонаучно), — коренится в предрассудках, глупейших общественных предрассудках!

— Будем здоровы! — очень мягко и сочувственно сказал Зельтен, опрокинув бокал красного вина.

Это окончательно вывело славного юношу из себя.

— Ты! Ты! — взвизгнул он. — Старый циник! Да что с тобой говорить! Но вот вы, — он обратил вызов к нам с Майзенбергом, — вы обязаны согласиться со мной! Да или нет?

Майзенберг чистил апельсин.

— И то и другое, как же иначе, — заверил он.

— Ну же, дальше, — подбодрил я оратора. Ему обязательно нужно было выпустить пар, иначе он все равно никого не оставил бы в покое.

— Так вот я и говорю, в глупейших предрассудках и косной общественной несправедливости! Все эти мелочи, господа, да это просто смешно. Что они теперь открывают женские гимназии и нанимают особей женского пола телеграфистками или кем-то там еще — да какая разница. Ведь в целом-то, в целом! Какие воззрения! Хотя бы в том, что касается эротики, сексуальности — какая узколобая жестокость!

— Вот как, — с облегчением произнес доктор, откладывая салфетку. — По крайней мере становится забавно.

Лаубе не удостоил его взглядом.

— Вот смотрите, — неистово продолжал он, размахивая крупной из поданных на десерт конфетой, которую затем многозначительным жестом и отправил в рот, — вот смотрите, если двое любят друг друга и он платит девушке, то онто все равно остается честным человеком, даже эдаким молодцом, — вот чертов негодяй! Но ведь особь женского пола погибла, общество ее отторгло, отринуло, она падшая. Да, пад-ша-я! Где же нравственная опора подобных представлений? Разве мужчина не пал точно так же? Более того, разве он не поступил более бес-чест-но, чем она?! Ну, говорите! Скажите же что-нибудь!

Майзенберг задумчиво всмотрелся в дым от своей сигареты.

— В принципе ты прав, — добродушно заметил он. Лицо Лаубе просияло торжеством.

— Я прав? Прав? — только и повторял он. — Где же нравственное оправдание подобных суждений?

Я взглянул на доктора Зельтена. Тот совсем притих. Обеими руками играя хлебным шариком, уставился вниз с той самой горечью на лице.

— Давайте пересядем, — спокойно сказал он. — Хочу рассказать вам одну историю.

Мы отодвинули обеденный стол и удобно устроились в заднем углу комнаты, выложенном коврами и уставленном мягкими креслами, где было так уютно беседовать. Свисавшая с потолка лампа заливала пространство голубоватым приглушенным светом. Под абажуром уже слегка покачивался скопившийся слой сигаретного дыма.

— Ну, валяй, — сказал Майзенберг, наполняя чепуху фужера французским бенедиктинским ликером.

— Да, коли уж на то пошло, я с удовольствием расскажу вам эту историю, — кивнул доктор. — Вполне готовую, так сказать, в виде новеллы. Вам известно, что когда-то я занимался чем-то подобным.

Я не очень хорошо видел его лицо. Он сидел, перебросив ногу на ногу, руки в карманах пиджака, откинувшись в кресле, и спокойно смотрел на голубую лампу.

— Герой моей истории, — начал он через какое-то время, — окончил у себя в северонемецком городке гимназию и в девятнадцать или двадцать лет поступил в университет П., довольно крупного южнонемецкого города.

Он был, что называется, «славный малый». На него невозможно было сердиться. Веселый, добродушно-уживчивый, он тут же стал любимцем всех товарищей. Красивый, стройный, с мягкими чертами лица, живыми карими глазами, нежным изгибом рта, над которым пробивались первые усы. Когда, заломив светлую круглую шляпу на черных волосах, засунув руки в карманы брюк и с любопытством посматривая вокруг, он шел по улице, девушки бросали на него влюбленные взгляды.

При этом он был невинен — чист телом, как и душой. Вместе с Тилли он мог сказать о себе, что не проиграл ни одного сражения и не коснулся ни одной женщины. Первое — поскольку ему до сих пор не представилось подходящего случая, а второе — поскольку ему до сих пор также не представилось подходящего случая.

Не пробыл он в П. и двух недель, как, понимаете, влюбился. Не в официантку, что обычно случает-

ся, а в молодую актрису, фройляйн Вельтнер, инженеру театра Гете.

Хотя, как метко заметил поэт, отвара юности имея в теле, Елену видим в каждой деве, девушка действительно была мила. Детский нежный облик, светленькие волосы, чистые, веселые, серо-голубые глаза, изящный носик и мягкий круглый подбородок.

Сначала он влюбился в лицо, затем в кисти рук, затем в сами руки, время от времени обнажаемые ею при исполнении античных ролей, и в один прекрасный день полюбил ее всю. В том числе и душу, которой еще совсем не знал.

Любовь стоила ему бешеных денег. По меньшей мере каждый второй вечер он занимал место в партере театра Гете, а в письмах постоянно просил у матушки денег, выдумывая самые невероятные объяснения. Но ведь он лгал ради нее. Это извиняло все.

Осознав, что он ее любит, юноша первым делом начал писать стихи. Ту самую немецкую «тихую лирику».

За этим занятием посреди книг он часто сиживал до поздней ночи. Только монотонно тикал маленький будильник у него на комод, а с улицы иногда доносились гулкие одинокие шаги. В самой верхней части груди, там, где начинается горло, у него поселилась мягкая, непонятная, текучая боль, часто готовая вернуться на отяжелевшие глаза. Но поскольку плакать по-настоящему он стыдился, то изливал ее на терпеливую бумагу только в словах.

В нежных строках, звучавших в печальной тональности, он говорил себе, как она прелестна и как красива, да как он болен и устал, и какая буря бушует у него в душе, зовет в неведомое, далеко-далеко, туда, где посреди сплошных роз и фиалок дремлет сладостное счастье, но он прикован...

Конечно, все это было смешно. Любой засмеял бы его. Да и слова-то были такие глупые, такие бессмысленно-беспомощные. Но он любил ее! Он ее любил!

Разумеется, тут же после признания самому себе ему стало стыдно. То была такая жалкая, коленопреклоненная любовь, что он желал бы лишь тихонько поцеловать ее ножку, поскольку она так прелестна, или белую ручку, а потом можно и умереть. О губах он не дерзал и думать.

Проснувшись как-то ночью, он представил, как она сейчас спит: хорошенькая головка в белой подушке, милый ротик слегка приоткрыт, а руки — эти неописуемо восхитительные руки с нежно-голубыми прожилками — сложены на одеяле. Он резко повернулся, вжался лицом в подушку и долго плакал в темноту.

Тем самым дело достигло кульминации. Молодой человек дошел уже до того, что не писал стихов и не ел. Он избегал знакомых, почти не выходил из дома, а под глазами у него глубоко залегли темные круги. К тому же он вообще перестал заниматься, ему ничего не хотелось читать. Он желал лишь вот так же устало, в слезах и любви, млеть перед ее когда-то купленным портретом.

Однажды вечером он сидел за неторопливой кружкой пива в углу пивной со своим другом Рёллингом, с которым был близок еще раньше, со школы, и который, как и он, изучал медицину, только на старших курсах.

Вдруг Рёллинг решительно стукнул литровой кружкой об стол.

— Так, малыш, а теперь говори, что с тобой, собственно, происходит.

— Со мной?

Но затем все-таки сдался и выговорился, про нее и про себя.

Рёллинг с сомнением покачал головой:

— Скверно, малыш. Тут ничего не поделаешь. Ты не первый. Совершенно неприступная особа. До последнего времени жила с матерью. Та, правда, недавно умерла, но тем не менее — ничегошеньки поделаться нельзя. Ужасающе порядочная девица.

— Да неужели ты думаешь, что я...

— Ну, я думаю, что ты надеялся...

— Ах, Рёллинг!..

— «Ах» — вот оно что. Пардон, я только теперь понял. С такой сентиментальной стороны я не смотрел на дело. Ну, коли так, пошли ей цветы, целомудренное почтительное письмо, умоляй о письменном позволении нанести визит с целью устного выражения своего восхищения.

Он побелел и задрожал всем телом.

— Но... но это невозможно!

— Почему же? Любой посыльный снесет за сорок пфеннигов.

Он задрожал еще сильнее.

— Боже всемогущий... если бы это было возможно!

— Напомни-ка, где она живет?

— Я... не знаю.

— Ты даже этого не знаешь? Официант! Адресную книгу!

Рёллинг быстро все нашел.

— Ну, вот видишь! До недавнего времени жила поизысканнее, теперь вдруг переселилась на Сенную улицу, 6-а, четвертый этаж. Видишь, здесь написано: Ирма Вельтнер, труппа театра Гете... Да это, знаешь ли, отвратительная дешевая дыра. Вот как вознаграждается добродетель.

— Рёллинг, прошу тебя!..

— Ну ладно, ладно. Значит, так и сделаешь. Может, тебе даже удастся поцеловать ей руку — душа-человек. На сей раз потратишься на цветы и сядешь в партере на три метра подальше.

— Ах, Боже мой, что мне до жалких денег!

— Нет, все-таки славно, когда человек сходит с ума! — резюмировал Рёллинг.

Уже на следующее утро трогательно-наивное письмо вместе с чудесным букетом цветов отправилось на Сенную улицу. Если бы он получил от нее ответ!.. хоть какой-нибудь ответ! С каким ликованием он целовал бы его строки!

Через восемь дней от бесконечного открывания и закрывания сломалась дверца почтового ящика у входа. Ругалась хозяйка.

Круги у него под глазами залегли еще глубже; выглядел он теперь действительно по-настоящему плачевно. Увидев себя в зеркале, юноша не на шутку перепугался, а потом от жалости к себе разрыдался.

— Вот что, малыш, — весьма решительно заявил при встрече Рёллинг, — так дальше нельзя. Ты все больше предаешься упадничеству. Нужно что-то делать. Завтра просто направишься к ней.

Его измученные глаза расширились.

— Просто... к ней...

— Ну да.

— Но это невозможно. Она не дала мне позволения.

— Знаешь, вообще нечего было затеваться с писульками. Могли бы и сразу сообразить, что не станет она давать незнакомому мужчине письменных авансов. Ты должен взять и пойти к ней. Да ты одуреешь от счастья, когда она просто с тобой поздоровается.

Уродом тебя не назовешь. Ни с того ни с сего она тебя не выставит. Завтра и отправляйся.

У него сильно закружилась голова.

— Я не смогу, — тихо проговорил он.

— Ну, тогда и я тебе ничем помочь не могу, — разозлился Рёллинг. — Тогда выкарабкивайся сам!

И вот, как зима дает в мае последний бой, настали дни трудной борьбы.

Но как-то утром он вынырнул из глубокого сна, в котором видел ее, открыл окно — и на дворе стояла весна.

Голубое, от края до края ясно-голубое небо будто мягко улыбалось, а воздух был приправлен такой сладкой пряностью.

Он осязал, обонял, видел, слышал и чувствовал весну на вкус. Все чувства были совершеннейшая весна.словно бы широкий солнечный луч, покоившийся где-то там, над домом, плавно содрогаясь, влился ему в сердце, проясняющий, укрепляющий.

И он, молча поцеловав ее портрет, надел чистую рубашку и выходной костюм, сбрил с подбородка щетину и направился на Сенную улицу.

Им овладело странное спокойствие, почти испугавшее его. Но оно не уходило. Восхитительное спокойствие, будто это не он поднялся по лестнице, не он встал под дверь и прочитал на табличке: «Ирма Вельтнер».

Вдруг его пронзило, что он, пожалуй, обезумел, на что тут, собственно, рассчитывать, нужно скорее уходить, пока его не видели.

Но это длилось всего мгновение, словно бы последнее стелание его робости окончательно стряхнуло давешнюю растерянность и в душу вошла большая, прочная, безоблачная уверенность; и если раньше на

него будто что-то давило, какая-то обременительная необходимость, как гипноз, то теперь он действовал в согласии со своей свободной, целеустремленной, ликующей волей.

Ведь наступила весна!

Звонок жестью продребезжал по этажу. Дверь открыла служанка.

— Госпожа дома? — бодро спросил он.

— Дома, да... но как позволите...

— Вот.

Он протянул визитную карточку и, когда она понесла ее, с озорной улыбкой в сердце просто прошел следом. Пока служанка передавала молодой хозяйке карточку, он уже стоял в комнате со шляпой в руке.

Это было не очень большое помещение, обставленное непритязательной темной мебелью.

Юная дама поднялась со своего места у окна, кажется, едва успев отложить книгу на соседний столик. Никогда, ни в какой роли он не видел ее столь восхитительной, как в действительности. Серое платье с темной вставкой на груди, облегающее изящную фигуру, отличалось скромной элегантностью. В светлых завитушках надо лбом подрагивало майское солнце.

Кровь его забурлила, зашумела от восторга, и когда она наконец бросила удивленный взгляд на карточку, а затем подняла еще более удивленный на него самого, он быстро сделал к ней два шага и его тоскливый жар прорвался в нескольких робких напористых словах:

— Ах нет... вы не должны сердиться!

— Что за нападение такое? — весело спросила она.

— Я просто обязан был, хоть вы и не дали мне позволения, я все же обязан хоть раз сказать, как я восхищен вами, сударыня... — Она приветливо указала

ему на кресло, и, пока они усаживались, слегка запинаясь, продолжил: — Видите ли, я уж так устроен, что всегда говорю все сразу и не умею вечно все... все держать в себе, и потому я просил... А почему вы не ответили мне, сударыня? — вдруг простодушно перебил он сам себя.

— Я... я не могу передать вам, — с улыбкой ответила она, — как искренне обрадовалась вашим любезным словам и красивым цветам, но... нельзя же так сразу... Ведь откуда мне было знать...

— Нет-нет, это я все прекрасно понимаю, но, правда, вы сейчас не сердитесь, что я без позволения...

— Ах нет, зачем же сердиться! Вы ведь недавно в П.? — быстро добавила она, чутко предупреждая неловкую заминку.

— Вовсе нет, уже около семи недель, сударыня.

— Так долго? А я полагала, вы впервые увидели меня на сцене недели полторы назад, когда я получила ваше приветливое письмо.

— Ну что вы, сударыня! Все это время я смотрел вас почти каждый вечер! Во всех ваших ролях!

— Вот как! Но почему же тогда вы не приходили раньше? — с невинным изумлением спросила она.

— Мне следовало прийти раньше? — весьма кокетливо ответил он вопросом на вопрос.

Сидя напротив нее в кресле и ведя задушевную беседу, он чувствовал себя таким несказанно счастливым, а ситуация казалась ему столь невообразимой, что он почти опасался: не дай Бог, за сладким сном, как обычно, последует печальное пробуждение. У него было так покойно-задорно на душе, что он чуть по-домашнему не перебросил ногу на ногу, а потом опять подступило столь безмерное блажен-